

A vibrant illustration of a bus on a cracked road at night. The bus is on the left, driving on a dark, cracked asphalt road. In the foreground, there is a lush garden with a pond, a wooden bench, and a large cherry blossom tree. The sky is dark purple with falling petals and stars. The title is written in large, stylized yellow letters with pink outlines.

ПУСТОШИ МОИХ МЫСЛЕЙ

Аслан
Осудов

Аслан Юсубов

Пустоши моих мыслей

«Автор»

2026

Юсубов А.

Пустоши моих мыслей / А. Юсубов — «Автор», 2026

Он не говорит с миром уже много лет. Единственное убежище Идриса — пустоши, бескрайние серые равнины его сознания, где он создаёт разговоры, которых никогда не случилось, и встречает людей, которых боится увидеть в реальности. Всё меняется в тот миг, когда он становится единственным свидетелем убийства. Идрис знает имя преступника, но как рассказать об этом, если твой голос принадлежит только фантазиям? Это роман о том, как одиночество превращается в любовь, молчание — в правду, а пустота — в дом, полный света о том, что настоящая жизнь всегда находится между — между страхом и надеждой, между потерей и обретением, между пустошью и садом.

© Юсубов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ	6
ГЛАВА ВТОРАЯ	9
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	13
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Аслан Юсубов

Пустоши моих мыслей

ПРОЛОГ

В пустошах нет времени, и это единственное, что делает их пригодными для жизни: там я могу сидеть на скамейке с попутчицей целую вечность, обсуждая вкус мороженого, которое тает на солнце, а в реальности автобус только тронется от остановки; там я прохожу через всю пустыню с человеком, чьё лицо я вижу впервые, а дома, в реальности, остынет чай, который я забыл допить.

Люди вокруг убеждены, что молчание — это пустота, зияющая дыра, которую необходимо заполнить словами, но они не знают главного: молчание — это самая густонаселённая территория на свете, там, где живут тысячи голосов, говорят без остановки, перебивая друг друга, спорят, мирятся, признаются в любви и в убийствах. Там я никогда не один.

Меня зовут Идрис, и я толкователь снов, которых никто не видит, кроме меня самого, хранитель тайн, о которых никто не просил, но которые тяжёлым грузом лежат на моих плечах. Всё началось в тот вечер, когда я увидел, как падает человек, или, если быть совсем точным, всё началось задолго до этого — в тот самый первый раз, когда я закрыл глаза в переполненном автобусе и вдруг понял, что открывать их обратно совсем не обязательно, потому что там, внутри, гораздо безопаснее и гораздо честнее, чем здесь, снаружи.

Иногда самый длинный путь — это путь от собственных глаз до чужих, иногда мы так и не проходим его до конца.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Автобус качнуло на повороте, и Идрис закрыл глаза не столько от толчка, сколько от количества людей, заполнивших салон до отказа. Их было слишком много для восьми часов утра, и дышать приходилось поверхностно, мелкими глотками, чтобы случайно не впустить в себя чужие запахи, чужие жизни, чужие мысли, которые плотным слоем висели в нагретом воздухе.

На остановке женщина с тяжёлой сумкой тронула его за плечо и спросила, выходит ли он. Идрис видел, как шевелятся её губы, но звук её голоса доходил до него с заметной задержкой, словно преодолевал толстый слой ваты, которым был обложен мир снаружи. Он не ответил, просто моргнул и оказался на скамейке у озера, где вода пахла тиной и нагретым солнцем деревом, а та же самая женщина сидела рядом, но сумка исчезла, и в руках у неё было белое мороженое, тающее на солнце.

Когда он вернулся, автобус стоял на конечной остановке, водитель смотрел на него в зеркало заднего вида и что-то говорил, но Идрис уже вышел в серый утренний воздух, пахнувший выхлопными газами и мокрым песком, и сорок минут шёл пешком до дома, где его ждала тишина.

Вечером того же дня закончился кофе, единственный ритуал, который ещё удерживал его на этой стороне реальности, и Идрису пришлось выйти в магазин, хотя за окнами уже давно стемнело и начал накрапывать мелкий осенний дождь.

Город после дождя был мокрым и блестящим, фонари отражались в лужах так ярко, что казалось, под ногами простирается второе небо, усыпанное звёздами, на которые Идрис старался не наступать, хотя прекрасно понимал всю абсурдность этого занятия в мире, где абсурд давно стал нормой жизни.

Он срезал путь через пустырь, где когда-то планировали построить парк, но деньги закончились, и осталась только ровная площадка, поросшая редкой травой, в темноте казавшаяся бесконечной и манящей своей пустотой, обещающей лёгкий переход в другое пространство.

Первым был слышен звук глухой и тяжёлый, словно мешок с песком упал с большой высоты на твёрдую землю. Потом наступила тишина, такая плотная, что в ней можно было утонуть, а дальше раздался шаг — быстрые, уверенные, не бегущие, но стремящиеся как можно скорее покинуть это место.

В темноте Идрис разглядел два силуэта: один неподвижно лежал на земле, второй стоял над ним, склонившись, а затем выпрямился и медленно повернул голову в ту сторону, где замер Идрис, забывший, как нужно дышать и двигаться.

Идрис не мог закричать, потому что голос здесь, в реальности, давно ему не принадлежал. Он не мог побежать, потому что ноги приросли к мокрой земле. Всё, что он мог, — только закрыть глаза и надеяться, что когда откроет их, всё это исчезнет, растворится в утреннем тумане, окажется очередным сном, который можно будет забыть.

Поезд шёл через ночь, и за окном проплывали редкие огни далёких деревень, похожие на светлячков, застрявших в густой темноте. В купе было тепло и уютно, пахло дорожной пылью и чуть сладковатым чаем, который остывал в стакане с подстаканником на маленьком столике. Напротив Идриса сидел мужчина, лица которого невозможно было разглядеть, хотя Идрис понимал, что это лицо он обязательно вспомнит, когда вернётся обратно в реальность.

— Ты ничего не видел, — сказал мужчина, и это был не вопрос, а утверждение, вынесенное окончательно и без права обжалования.

— Я ничего не видел, — послушно ответил Идрис, и голос здесь звучал легко и свободно, не натываясь на преграды и не проваливаясь в бездонную тишину.

— Хорошо, — мужчина откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. — Тогда доедем спокойно, дорога длинная, успеем ещё поговорить о всяком.

Поезд мерно покачивался на стыках рельсов, и Идрис смотрел в окно на проносящиеся мимо огни и думал о том, что это путешествие могло бы длиться вечно, если бы не одно обстоятельство, о котором он старался не вспоминать.

За окном поезда простиралась бесконечная пустошь, серая и ровная, без единого дерева или холма, только редкие кусты перекасти-поля, застрявшие в придорожных колючках. Эта пустошь напоминала ему то место, откуда он только что пришёл, и он знал, что рано или поздно ему придётся туда вернуться.

Поезд качнуло особенно сильно, и Идрис открыл глаза. Пустырь был пуст: только тёмное пятно на земле впереди, к которому он подошёл почти без страха, потому что страх остался там, в поезде, вместе с попутчиком, чьё лицо он так и не разглядел.

Человек лежал лицом вниз, и рука его была неестественно вывернута, и Идрис смотрел на него долго, не прикасаясь, не пытаясь помочь, потому что помощь здесь была уже бесполезна, и только считал про себя до пяти, чтобы не провалиться обратно в пустоту.

Где-то далеко залаяла собака, и этот лай приближался вместе с голосами людей, спешащих на помощь или просто из любопытства, и Идрис развернулся и пошёл прочь, унося в себе образ падающего человека и уверенность в том, что он действительно ничего не видел.

Дома он заварил кофе и выпил его, глядя в тёмное окно, за которым начинался новый день, хотя на часах была только половина первого ночи, и лёг спать, надеясь, что сны сегодня будут пустыми и тихими, как та пустошь, по которой он шёл, возвращаясь домой, но сон не приходил. Идрис лежал с открытыми глазами, глядя в потолок, на котором плясали тени от проезжающих за окном машин, и в голове его снова и снова прокручивалась одна и та же картина: падающий силуэт, второй силуэт, замирающий на мгновение, взгляд, направленный в темноту, туда, где стоял он сам. Он не знал, сколько времени прошло — может быть, час, может быть, три, — но в какой-то момент он понял, что лежит не один, где-то на границе сна и яви, в той самой пограничной зоне, откуда был рукой подать до пустошей. Он почувствовал чьё-то присутствие. Он не видел лица, только смутные очертания, но знал — это тот, с пустыря. Тот, кто стоял над телом.

— Ты меня не видел, — сказал голос не угрожающе, а скорее устало, как человек, который очень надеется, что его поймут правильно.

— Не видел, — ответил Идрис во сне или в яви — он уже не различал.

— Вот и хорошо, спи.

Идрис провалился в сон и спал до утра без сновидений, а утром, открыв глаза, долго лежал и смотрел в потолок, пытаясь понять: было это на самом деле или только показалось. Он так и не понял.

Увиденное нельзя сделать невидимым, как нельзя сделать несделанным то, что уже случилось. Можно только закрыть глаза и надеяться, что внутри найдётся место, где это перестанет болеть.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В кабинете следователя пахло безнадежностью, и этот запах состоял из множества компонентов: бумажной пыли, скапливающейся в папках годами, старого кофе, который здесь пили литрами, мужского пота, ввевшегося в кожаные кресла, и страха, который источали все, кто переступал порог этого помещения, потому что страх обладает самым стойким ароматом, способным пропитать стены насквозь, подобно табачному дыму.

Идрис сидел на стуле у стены, сжавшись в комок так сильно, что казалось, будто он пытается занять как можно меньше места в этом враждебном пространстве, и руки его были сложены на коленях с пальцами, переплетёнными в сложный защитный узел, а глаза смотрели в пол, не поднимаясь выше плинтуса, за которым начинался уже совсем чужой и опасный мир.

Напротив него за столом восседал майор Кузин, грузный мужчина с лицом, изрезанным глубокими морщинами, каждая из которых, вероятно, означала какое-то особенно тяжёлое дело, и сейчас он смотрел на Идриса с плохо скрываемым раздражением человека, привыкшего получать ответы на свои вопросы.

— Ты понимаешь, парень, в каком положении находишься? — спросил Кузин, повышая голос, словно громкость могла пробить броню молчания Идриса. — Ты единственный свидетель убийства, и от твоих показаний зависит, найдём мы преступника или нет, а ты сидишь здесь и молчишь, как рыба об лёд.

Идрис молчал, и молчание его было таким плотным и тяжёлым, что, казалось, заполняло собой весь кабинет, вытесняя воздух и делая дыхание затруднительным для всех присутствующих.

— Может, он вообще не говорит? — предположил молодой лейтенант, сидевший в углу с блокнотом наготове. — Немой, то есть, бывает такое.

— Врачи сказали: — не немой, — отрезал Кузин, барабаня пальцами по столу. — Головные связки в порядке, мозг в порядке, а говорить не хочет. Психолог сказал: — сложный случай, слишком глубоко ушёл в себя, рекомендовал специалистку из кризисного центра, которая работает с такими пациентами.

Идрис слушал их разговор, но звуки доносились до него словно сквозь толщу воды, и он считал про себя до пяти, чтобы не провалиться в спасительную пустоту раньше времени, потому что здесь, в кабинете, это было опасно — вдруг они заметят, вдруг поймут, что его здесь нет, хотя тело продолжает сидеть на стуле с переплетёнными пальцами.

Дверь открылась, и вошла женщина, и с её появлением запах безнадежности в кабинете слегка изменился, смешавшись с чем-то свежим и живым, напоминающим о вещах, которые Идрис давно забыл: о мокрой траве после дождя, о нагретом солнцем дереве, о тишине, которая бывает не мёртвой, а живой и дышащей.

— Диана, — представилась она, не протягивая руки ни Кузину, ни тем более Идрису, и голос её был тихим и спокойным, не требующим немедленного ответа, не атакующим, а просто присутствующим рядом. — Я психолог, меня вызвали для работы со свидетелем.

Кузин кивнул в сторону Идриса и развёл руками, словно показывая: вот он, объект вашей работы, смотрите, что можно сделать с этим камнем, из которого мы уже полдня пытаемся выбить хоть слово.

Диана пододвинула стул и села напротив Идриса, не слишком близко, чтобы не нарушать его личное пространство, но и не слишком далеко, чтобы он мог разглядеть её лицо, если вдруг поднимет глаза, и она смотрела на него спокойно и выжидающе, не требуя ничего, кроме разрешения просто быть рядом.

— Идрис, — сказала она тихо, и имя его в её устах прозвучало не как клеймо или приговор, а как простое обращение к человеку, который имеет право молчать, если хочет. — Я не буду задавать тебе вопросов, потому что вижу, что ты не готов на них отвечать. Я просто посижу здесь немного, если ты не против, а потом уйду и приду завтра снова.

Идрис не поднял глаз, но ресницы его дрогнули, и Диана заметила это движение, поняв его как маленькую победу, как трещину в броне, через которую рано или поздно можно будет проникнуть внутрь.

В коридоре, когда она вышла, Кузин набросился на неё с вопросами, и Диана ответила ему спокойно и твердо, объясняя, что Идрис не немой и не сумасшедший, а просто человек, построивший вокруг себя крепость, и что задача заключается не в том, чтобы разрушить эту крепость, а в том, чтобы найти способ войти в неё через единственные ворота, которые он готов открыть.

— Его зовут Идрис, — сказала она, выходя из здания. — Толкователь. Интересно, какие сны он толкует и кто населяет его внутренний мир, пока мы здесь бьёмся головой о стены его молчания.

Кухня была маленькой и тесной, с обоями в мелкий цветочек, которые давно уже выцвели и местами отошли от стен, с холодильником старым и гудящим, с плитой, на которой закипал чайник, выбрасывая в воздух облачка пара, пахнущего мятой и покоем. Идрис сидел на табурете, покрытом вытертой клеёнкой в клетку, и напротив него сидел Мамедов, майор, который днём в кабинете смотрел на него усталыми глазами и наливал воду в пластиковый стаканчик. Здесь Мамедов был без формы, в простой майке, обнажающей крепкие, но уставшие плечи, и лицо его было не служебным, а домашним, расслабленным, с мелкими морщинками у глаз, которые становились заметны только при близком рассмотрении.

— Дочка у меня болеет, — сказал Мамедов, не глядя на Идриса, а глядя куда-то в стену поверх его плеча. — Третий день температура держится высокая, врачи ничего понять не могут. Жена с утра на работе, потому что отпуск давно кончился, а я с ночной смены пришёл и уже второй час не могу уснуть, все думаю о ней.

Идрис молчал, но молчание его здесь было не враждебным и не защитным, а внимательным и сочувствующим, позволяющим человеку выговориться без страха быть осуждённым или непонятым.

— Ты знаешь, Идрис, что самое тяжёлое в нашей работе? — Мамедов наконец перевёл взгляд на собеседника, и глаза его были тёмными и глубокими, как колодцы. — Не трупы, нет, к ним привыкаешь, как бы это страшно ни звучало, не кровь и не насилие, потому что со временем вырабатывается профессиональная защита. Самое тяжёлое — это ложь: каждый день приходится врать, понимаешь?

Чайник закипел и щёлкнул, отключаясь, но никто не встал, чтобы разлить чай по кружкам.

— Преступникам врешь, что поймаешь их обязательно, хотя сам знаешь, что шансов мало; начальству врешь, что дело под контролем, хотя оно разваливается на глазах; жене врешь, что всё нормально, что усталость обычная, работа есть работа; себе врешь, что так и надо, что по-другому нельзя, что все так живут.

— Зачем ты врешь? — спросил Идрис, и голос его здесь был ровным и спокойным, без напряжения, которое сковывало горло в реальности.

Мамедов усмехнулся горько и покачал головой.

— А затем, Идрис, что правда слишком тяжёлая — не каждый выдержит. Вот ты, например, молчишь, потому что правду сказать боишься или потому что правда твоя такая, что слов для неё нет?

Идрис подумал над этим вопросом всерьёз, потому что в фантазиях он мог позволить себе думать над вопросами столько, сколько нужно, не опасаясь, что пауза будет сочтена за слабость или болезнь.

— Наверное, потому что слова, которые есть, не подходят для того, что я чувствую, — ответил он наконец. — Они слишком маленькие и плоские, а то, что внутри, большое и глубокое, и если я начну говорить маленькими словами, оно перестанет быть настоящим.

Мамедов кивнул, словно понял что-то важное, и наконец встал, чтобы разлить чай по кружкам, которые стояли на столе уже приготовленные, с ложками и сахарницей.

— А сны тебе снятся? — спросил он, ставя перед Идрисом дымящуюся кружку. — Я вот последнее время часто вижу один и тот же сон: иду по пустому месту, по степи или пустыне, и никого вокруг нет, только я один, и так хорошо мне там, спокойно, что просыпаться не хочется.

— Это не сон, — тихо сказал Идрис, вглядываясь в лицо Мамедова, пытаясь найти там подтверждение тому, что сам чувствовал каждую минуту своей жизни. — Это пустошь, туда можно уходить, даже не засыпая: просто закрыть глаза и оказаться там.

— Научишь? — спросил Мамедов, и в глазах его мелькнуло что-то странное, чего Идрис не смог сразу распознать: тоска, надежда или страх.

— Ты уже там, — ответил Идрис, поднимая кружку и вдыхая запах мяты. — Мы оба здесь, вопрос только в том, сможешь ли ты вернуться обратно, когда придёт время.

Мамедов не ответил, только смотрел на Идриса долгим взглядом, и в этом взгляде читалось что-то такое, от чего внутри у Идриса зашевелился холодный страх, тот самый, который он чувствовал на пустыре, глядя на падающий силуэт.

Идрис моргнул и открыл глаза в реальности.

Кабинет был пуст: только Кузин сидел за своим столом и что-то писал в бумагах, не обращая на него внимания. Пластиковый стаканчик с водой стоял нетронутым, и вода в нем чуть подрагивала от вибраций проезжающих за окном машин.

Идрис посмотрел на свои руки, все так же переплетённые на коленях, и подумал о том, что Мамедов в фантазии сказал что-то очень важное, но что именно — ускользало от понимания, таяло, как утренний туман, оставляя после себя только смутную тревогу.

В тот вечер, вернувшись домой, Идрис долго сидел на кухне, глядя в одну точку. Перед глазами стояло лицо Мамедова — уставшее, но не злое, не требовательное, а почти домашнее. Странно, в реальности так не смотрят на свидетелей, тем более на тех, кто отказывается говорить.

Он достал бумагу и карандаш и начал рисовать, сам не зная зачем, просто рука сама потянулась. На рисунке появилась маленькая кухня с обоями в цветочек, старенький холодильник, чайник на плите. За столом сидели двое — он сам и Мамедов. Перед ними стояли кружки с чаем, и пар поднимался над ними тонкими струйками. Идрис смотрел на рисунок и чувствовал странное тепло в груди. Такого не было давно, очень давно, с тех самых пор, как бабушка умерла. Он убрал рисунок в ящик стола и лёг спать и впервые за много лет уснул без страха, без желания провалиться в пустошь, без тревоги — просто уснул, как обычный человек.

Иногда люди говорят правду только во сне или в чужой фантазии, потому что реальность слишком жестока, чтобы в ней признаваться в самых страшных вещах. Иногда убийца приходит к тебе на кухню не затем, чтобы убить, а затем, чтобы рассказать, как он это сделал, и услышать, что это было не зря.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Диана пришла ровно в десять утра, как и обещала накануне, и Идрис ждал её, хотя сам себе в этом не признавался, потому что ожидание кого-то было чувством, которое он давно похоронил в себе вместе со всеми остальными чувствами, требовавшими участия другого человека.

Кузин выделил для их встреч отдельный кабинет, маленький и тесный, с одним окном, выходящим во внутренний двор, где росли чахлые тополя и стояла старая детская площадка с ржавыми качелями, на которых никто никогда не качался. Здесь пахло побелкой и тишиной, и это было лучше, чем кабинет следователя с его запахом безнадёжности и страха.

Диана села напротив Идриса, но не за стол, отделяющий их друг от друга, а сбоку, под углом, чтобы он мог смотреть в окно или в стену, если захочет, и не чувствовать себя загнанным в угол.

— Я принесла бумагу и карандаши, — сказала она, выкладывая на стол несколько простых карандашей разной мягкости и стопку белой бумаги, такой чистой и гладкой, что на неё хотелось смотреть, не отрываясь. — Ты не обязан говорить со мной словами, можешь рисовать то, что чувствуешь или видишь, можешь не делать вообще ничего, а я просто посижу рядом, если ты не против.

Идрис смотрел на бумагу, и белизна её манила его, обещая чистый лист, на котором можно было разместить всё, что накопилось внутри за годы молчания, не боясь, что слова будут слишком маленькими и плоскими для его чувств. Он протянул руку и взял карандаш, самый мягкий, почти уголь, и Диана замерла, стараясь даже дышать тише, чтобы не спугнуть этот редкий момент, когда крепость приоткрывает свои ворота хотя бы на миллиметр. Идрис начал рисовать, и рука его двигалась по бумаге легко и уверенно, словно делала это каждый день, хотя на самом деле он не рисовал уже много лет, впервые попробовав это вчера, с тех самых пор, как мир стал слишком громким и требовательным, а карандаши перестали успевать за образами, рождающимися в голове.

На бумаге появился автобус, старый и пыльный, с затемнёнными стёклами, за которыми угадывались силуэты людей, и автобус этот ехал по бесконечной дороге через пустошь, и на горизонте не было ничего, кроме серого неба и серой земли, сливающихся в одну линию.

Диана смотрела на рисунок и чувствовала, как внутри у неё что-то сжимается от тоски, которую излучало это изображение, тоски такой глубокой и всеобъемлющей, что дышать становилось трудно.

— Это место, куда ты уходишь? — тихо спросила она, не столько спрашивая, сколько утверждая, потому что ответ был очевиден для того, кто умеет читать между линий.

Идрис кивнул, не поднимая глаз от рисунка, и добавил ещё несколько штрихов, прорисовывая фигуру водителя, чьё лицо было размытым и нечётким, почти невидимым.

— А кто там едет с тобой? — спросила Диана, указывая на силуэты в салоне автобуса. — Ты рисуешь людей, которых встречаешь там?

Идрис остановился и задумался, прикусив губу, и Диана видела, как он борется с желанием уйти в свой мир прямо сейчас, прямо здесь, при ней, потому что вопросы были слишком трудными и требовали ответов, на которые у него не было сил.

Неожиданно дверь открылась, и в кабинет вошёл Мамедов, и Идрис вздрогнул так сильно, что карандаш выпал из его руки и покатился по столу, оставляя за собой серый след.

— Извините, что прерываю, — сказал Мамедов, и голос его звучал ровно и спокойно, но глаза его скользнули по рисунку и задержались на нем дольше, чем требовалось для простого любопытства. — Кузин просил передать, что через час придёт адвокат потерпевшей стороны, хочет поговорить со свидетелем.

— Я думаю, это не лучшая идея сейчас, — ответила Диана, вставая между Мамедовым и Идрисом, словно защищая его от невидимой опасности. — Идрис не готов к общению с посторонними.

Мамедов посмотрел на неё долгим взглядом, и в этом взгляде читалось что-то такое, от чего Диане стало не по себе, хотя она не могла объяснить причину этого чувства даже самой себе.

— Я просто передаю просьбу, — сказал Мамедов, и уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. — Решать вам, как специалисту, но учтите, что дело не ждёт, и каждая минута молчания вашего подопечного может стоить кому-то жизни.

Он вышел так же внезапно, как и вошёл, и после его ухода в кабинете остался запах его одеколona, резковатый и навязчивый, смешанный с чем-то ещё, что Диана не могла определить, но что заставило её насторожиться.

Идрис сидел неподвижно, глядя на дверь, за которой скрылся Мамедов, и лицо его выражало такую сложную гамму чувств, что Диана растерялась, пытаясь их расшифровать: страх, узнавание, тоска и ещё что-то, похожее на жалость.

— Ты его знаешь? — спросила Диана, садясь обратно на своё место. — Ты уже видел его раньше?

Идрис медленно кивнул и снова взял карандаш, но рисовать не стал, а просто сжимал его в пальцах так сильно, что костяшки побелели.

— Ты можешь мне рассказать? — спросила Диана, понимая, что рискует, что давит слишком сильно, но чувствуя, что этот момент может быть ключевым. — Не словами, можешь нарисовать.

Идрис посмотрел на чистый лист бумаги, потом перевёл взгляд на дверь, потом снова на бумагу, и рука его дрогнула, начиная новый рисунок поверх старого, смешивая образы в один сложный и противоречивый сюжет. На этот раз он рисовал не автобус и не пустошь. Он рисовал кухню, маленькую и тесную, с обоями в цветочек, с чайником на плите, с двумя фигурами за столом, пьющими чай и о чем-то разговаривающими, и одна из этих фигур была сам Идрис, а вторая — Мамедов, и оба они выглядели спокойными и умиротворёнными, словно старые друзья, встретившиеся после долгой разлуки.

Диана смотрела на рисунок и не верила своим глазам, потому что Идрис изобразил сцену, полную такого тепла и доверия, какое невозможно представить между свидетелем и следователем, между замкнутым молчуном и усталым майором.

— Это там? — спросила она, касаясь пальцем рисунка, но не прикасаясь к самой бумаге, словно боялась разрушить хрупкое изображение. — В твоём мире?

Идрис кивнул и добавил ещё одну деталь: на руке Мамедова, в том месте, где закатан рукав майки, проступила тёмная линия, похожая на шрам или татуировку, и Идрис обвёл её несколько раз, делая более заметной.

— Это важно? — спросила Диана, и сердце её забило быстрее, потому что она чувствовала, что приближается к чему-то очень важному, к той самой границе, за которой начинается разгадка.

Идрис поднял на неё глаза впервые за все время их знакомства, и взгляд его был таким ясным и осмысленным, что Диана на мгновение забыла, что перед ней человек, который не может говорить в реальности. Он протянул руку и взял её ладонь, и прикосновение его паль-

цев было холодным и сухим, и он нарисовал на её ладони что-то невидимое, вода пальцем по линиям жизни и судьбы, и Диана поняла: он пытается передать ей то, что не может сказать словами, то, что слишком важно, чтобы остаться невысказанным.

В этот момент дверь снова открылась, и на пороге появился Кузин с озабоченным лицом и сообщил, что пришёл адвокат и что Идрису придётся выйти в коридор для формальной процедуры опознания по фотографиям, даже если он не будет говорить.

Диана хотела возразить, но Идрис уже встал и направился к двери, и она пошла за ним, чувствуя, что только что произошло что-то очень важное, что-то, что может изменить всё, но что именно — она ещё не успела понять.

Идрис сидел на крыльце старого дома, и перед ним простирался двор, залитый южным солнцем таким ярким, что глаза слезились, если смотреть вдаль, не прищуриваясь. Во дворе росла старая айва, усыпанная жёлтыми плодами, пахнувшими мёдом и детством, и под этой айвой сидела бабушка и чистила яблоки для варенья, и нож в её руках двигался ритмично и спокойно, срезая кожуру длинными тонкими лентами.

Идрис любил смотреть, как она это делает, потому что в этом движении было что-то умиротворяющее, что-то, что говорило ему: мир не спешит, мир никуда не бежит, мир просто есть, и в этом его главное достоинство.

— Ты опять молчишь, Идрис, — сказала бабушка, не глядя на него, потому что она всегда знала, где он находится и что делает, даже не поворачивая головы. — Всё молчишь и молчишь, скоро слова забудешь, как их произносить.

— Я помню, бабушка, — ответил Идрис, и голос его здесь, в этой фантазии о детстве, был звонким и чистым, без той хрипотцы, которая появилась позже, когда он перестал пользоваться им в реальности. — Просто не всегда есть что сказать.

Бабушка усмехнулась и бросила очищенное яблоко в таз с водой, где оно тихо плеснуло, поднимая маленькие брызги, сверкающие на солнце как алмазы.

— Глупый ты еще, маленький, — сказала она ласково. — Говорить всегда есть что, вот смотри: яблоко пахнет так, как пахло в моем детстве, когда мы жили в горах и у нас был свой сад — это уже тема для разговора. Солнце греет спину, и я чувствую, как тепло расходится по всему телу, и вспоминаю, как мы с твоим дедом грелись на камнях у реки — это тоже тема. Вокруг нас тысяча тем, а ты говоришь, что нечего сказать.

Идрис задумался над её словами и посмотрел на свои руки, маленькие ещё, детские, с обкусанными ногтями, и подумал о том, что бабушка права, но не совсем, потому что дело было не в темах, а в том, что слова, которыми он пытался описывать мир, всегда оказывались слишком маленькими для того, что он чувствовал.

— Ты знаешь, бабушка, — начал он медленно, подбирая выражения, — когда я смотрю на что-то красивое, например, на горы или на море, мне хочется не говорить, а молчать, потому что если я начну говорить, красота уменьшится, понимаешь? Она станет просто словами, а была чем-то большим.

Бабушка остановилась с ножом в руке и посмотрела на него долгим взглядом, и в глазах её было что-то такое, от чего Идрису стало тепло и спокойно, потому что этот взгляд говорил: я понимаю тебя, маленький, я всегда тебя понимала и всегда буду понимать.

— Ты особенный, Идрис, — сказала она тихо. — Ты чувствуешь мир глубже других. Это дар и проклятие одновременно. Ты будешь часто молчать, и люди будут думать, что ты пустой внутри, но я-то знаю, что внутри у тебя целый мир, больше, чем у всех них, вместе взятых.

Она протянула ему очищенное яблоко, и Идрис взял его и откусил большой кусок, и вкус яблока был таким насыщенным и полным, что на глазах выступили слезы, потому что в реальности яблоки давно уже не были такими — там они были водянистыми и безвкусными, выращенными для продажи, а не для радости.

— Бабушка, — спросил Идрис, прожевав яблоко, — а что делать, если увидишь что-то страшное? Если увидишь то, чего видеть не должен?

Бабушка помолчала, и нож в ее руках замер на полпути к очередному яблоку.

— А ты уже увидел? — спросила она, и голос её стал серьёзным, без той ласковой игривости, которая была в нем минуту назад.

— Не знаю, — честно ответил Идрис. — Может быть, да, а может быть, и нет. Иногда я не понимаю, что происходит в реальности, а что — внутри.

Бабушка отложила нож и повернулась к нему всем телом, и солнце осветило её лицо, изрезанное морщинами, каждая из которых хранила память о прожитых годах, о потерях и радостях, о войне и мире, о любви и разлуке.

— Слушай меня внимательно, Идрис, — сказала она твердо. — Твой внутренний мир — это твоё убежище, туда никто не имеет права входить без твоего разрешения. Но если ты увидел что-то страшное в реальности, если это случилось на самом деле, а не внутри, то молчание может стать предательством, понимаешь? Предательством по отношению к тому, кого больше нет.

Идрис смотрел на неё и чувствовал, как внутри разворачивается тугой узел, который он носил в себе столько лет, сколько себя помнил.

— А если я не могу говорить в реальности? — спросил он шепотом. — Если слова там не выходят? Если они застревают здесь, — он дотронулся до горла, — и не могут прорваться наружу?

Бабушка встала, подошла к нему и села рядом на крыльцо, обняв его за плечи своей сухой и тёплой рукой.

— Значит, будешь искать другие способы, — сказала она. — Бог дал человеку не только рот для разговора, есть глаза, есть руки, есть бумага и карандаш, есть люди, которые умеют слышать без слов. Ты найдёшь такого человека, Идрис, обязательно найдёшь, и тогда скажешь ему всё, что нужно сказать.

Она поцеловала его в макушку, и от этого поцелуя по всему телу разлилось тепло, такое сильное, что Идрис закрыл глаза, чтобы не расплакаться от счастья и боли одновременно. Когда он открыл глаза, бабушки рядом не было: не было айвы и яблок, не было старого дома и южного солнца — лишь коридор отделения полиции, пахнувший казённой краской и чужим горем, и перед ним стоял Кузин с папкой фотографий в руках, и лицо его выражало нетерпение и раздражение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.